

Алина Веснина



Пари
на миллиардера

Алина Веснина

Пари на миллиардера

<https://litres.ru/74195684>

SelfPub; 2026

Аннотация

Кира Громова умеет считать всё: чужие миллиарды, риски, мелкий шрифт под красивыми словами. В семье, где три брата давно счастливы, она — «несущая балка холдинга»: держит всех и не рискует. Ровно до одного удара молотка на аукционе.

За старинную корабельную лампу с ней спорит незнакомец — холодный, точный, опасный. Задетая азартом, Кира впервые жмёт руку, не дослушав условий, — и проигрывает пари, ещё не понимая, во что ввязалась.

Марк Соболев пришёл не за лампой, а за правдой: его отца когда-то выдавили из дела, с которого начиналась империя Громовых, а подпись под изгнанием поставил её дед. По пари у Марка есть месяц рядом с ней — а считать Кира умеет что угодно, кроме живого человека напротив.

Чем ближе правда, тем яснее: за старой ложью стоит одна рука, что тридцать лет назад стравлила их семьи, а теперь стравливает их самих.

Иногда самую важную подпись ставят не глядя. А иногда — глядя, прочитав всё до конца.

Четвёртая книга о семье Громовых. Читается как отдельная история.

Содержание

Глава 1. Лот сорок семь	5
Глава 2. Условие	18
Глава 3. Варяг	31
Глава 4. Река	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Алина Веснина

Пари на миллиардера

Глава 1. Лот сорок семь

В нашей семье принято считать, что азарт — болезнь бедных. Богатые не играют, любил повторять дед: богатые считают; ставки делают те, кому нечего терять, а нам с тобой, Кира, есть что, поэтому наше дело — держать банк, а не сидеть за столом. Я несла эту мысль всю свою тридцатилетнюю жизнь как несущую балку и ни разу не усомнилась в её прочности — ровно до лота номер сорок семь.

До сорок седьмого лота я вообще не собиралась ничего покупать. Я приехала на этот благотворительный аукцион работать, а не веселиться, — потому что в семье Громовых работать на праздниках всегда выпадает мне.

Аукцион устроили в «Соколином», во дворе нового крыла детского центра «Светлячок», которое в тот день торжественно открывали. Всё было продумано до мелочи, и все эти мелочи, разумеется, продумала я: свет в кронах, ряды стульев по осенней траве, аукционист с бархатным голосом, список лотов, выверенный так, чтобы гости раскошелились, но не почувствовали, что их доят. Фонд «Первый шаг» со-

бирал деньги на второй корпус, и я отвечала за то, чтобы к десерту в кассе было на корпус, а не на половину.

Мои братья в это время занимались куда более приятным делом — были счастливы.

Их было на кого посмотреть. Максим, старший, ледяной наш генеральный, стоял с женой Соней у столов с десертами и держал на руках годовалого сына с таким лицом, будто ему вручили не ребёнка, а весь мир под опись. Артём, средний, вполголоса препирался о чём-то с Лерой над салфеткой, на которой она уже чертила, как перестроить этот двор «под свет», — они всегда так мирились, через чертёж. И даже Глеб, младший, наш вечный «запасной», которого ещё год назад я не могла представить ни с кем, кроме калькулятора, ходил по дорожке с трёхлетним Сашей на плечах и учил его считать звёзды, а рядом смеялась Надя, и было видно, что этот несносный мальчишка наконец нашёл, у кого научиться быть человеком.

Все три моих брата, каждый по-своему сломанный, каждый по-своему заново собранный, стояли парами. А я стояла со списком лотов.

Так было не всегда, но так было столько, сколько я себя помню взрослой. Когда десять лет назад холдинг качнуло, а отец слёг, разбираться, у кого какая доля и кто кому сколько должен, пришлось не мечтателю Артёму и не влюблённому тогда в свои финансовые схемы Глебу, а мне — двадцатилетней девочке с красным дипломом и твёрдым убеждением,

что если очень аккуратно всё посчитать, мир не рухнет. Мир не рухнул. Я его пересчитала. Просто где-то между колонками дебета и кредита потерялась та Кира, которая собиралась стать кем-то ещё, кроме калькулятора семьи. Её никто не искал. В том числе я сама: искать — значит признать, что потеря есть, а в моём балансе не было графы для таких строк.

— Опять считаешь чужой праздник вместо того, чтобы жить своим? — Рядом возник Дани Северов, наш семейный юрист, единственный человек в холдинге, кому позволено разговаривать со мной в таком тоне: он тащит меня на буксире через все наши сделки ещё с тех времён, когда я была той самой двадцатилетней девочкой. Он протянул мне бокал, который я не взяла, и сам же его и выпил. — Кира, это аукцион. Люди тратят деньги на глупости и счастливы. Купи себе хоть раз глупость, врачи говорят, помогает. — Глупости не входят в мои полномочия, — сказала я. — Я здесь, чтобы чужие глупости оплачивали второй корпус. — Когда-нибудь, — сказал Дани почти серьёзно, — ты поставишь на что-то просто так, без сметы, и я хочу это видеть. Я тебе даже строчку в протоколе оставлю. Я тогда посмеялась. Зря.

Я не жалуясь. Мне тридцать, я операционный директор холдинга, который трое моих братьев умеют красиво возглавлять, ссориться и влюбляться, но который на самом деле держится на том, что кто-то — я — каждое утро сводит его дебет с кредитом. В нашей семье есть те, кто мечтает, те, кто строит, те, кто рискует, — и есть я, которая платит по сче-

там за всех. Кто-то должен. Я давно смирилась, что это моя графа. Просто в тот вечер, глядя на три чужих счастья при хорошем освещении, которое сама же и расставила, я почувствовала укол в том месте, где у деловых женщин полагается быть исключительно деловая хватка.

Наверное, поэтому я и подняла табличку на сорок седьмом лоте. От укола. От усталости. От того, что впервые за долгий вечер захотела чего-то не по смете.

— Лот сорок семь, — объявил аукционист. — Старинная корабельная лампа, латунь, ручная работа, конец девятнадцатого века. Происхождение неизвестно. Передана фонду анонимным жертвователем. Начинаем с пятнадцати тысяч.

Её вынесли на бархатной подушке, и я не знаю, что на меня нашло. Это была просто лампа — тяжёлая, потемневшая от времени латунь, толстое стекло в решётчатой оправе, какими светят на палубе в шторм, чтобы огонь не задудло. Не украшение. Рабочая вещь. Такими не любят — такими не дают погаснуть свету, когда вокруг вода и ночь. И вот эта её честная рабочесть посреди нарядного двора, полного людей, которые сроду не держали в руках ничего тяжелее бокала, вдруг задела меня за живое сильнее, чем все хрустальные висюльки предыдущих лотов.

Я подняла табличку.

— Двадцать тысяч, — сказал аукционист, кивнув мне с профессиональной радостью. — Двадцать от госпожи Громовай.

И вот тогда с другого края двора поднялась вторая табличка.

— Тридцать, — произнёс мужской голос, спокойный и ровный, из тех, что не повышают, потому что привыкли, что их и так слышно.

Я обернулась. У дальнего ряда, чуть в стороне от света, стоял человек, которого я не знала, — а я знаю всех, кого приглашаю, это моя работа. Высокий, в тёмном, дорого, но без единой попытки понравиться; лицо спокойное, закрытое, с той особенной вежливостью, за которой обычно держат очень твёрдый расчёт. Он смотрел не на меня. Он смотрел на лампу, и смотрел так, как я никогда в жизни не смотрела ни на один лот, — как смотрят на что-то своё, потерянное и вдруг найденное на чужом столе.

— Тридцать пять, — сказала я.

Азарт — болезнь бедных. Я, разумеется, помнила. Просто в тот момент мне вдруг стало важно, чтобы эта рабочая, честная вещь не досталась незнакомцу, который смотрит на неё как собственник. Позже я много раз спрашивала себя, что это было — принципиальность, усталость или уже тогда, с первой секунды, то самое, чему в отчётах нет графы. Скорее всего, всё сразу.

— Пятьдесят, — сказал он, не глядя в мою сторону.

По двору прошёл заинтересованный шумок. Люди, которые весь вечер зевали над лотами, оживились: ничто так не будит богатую публику, как вид того, что кто-то хочет че-

го-то по-настоящему.

Я поймала на себе взгляды. Максим смотрел от десертов с лёгким недоумением: он никогда не видел, чтобы я торговалась хоть за что-нибудь, кроме условий контракта. Дани смотрел с откровенным восторгом человека, чьё пророчество сбывается на глазах. А незнакомец смотрел на лампу. И вот это добивало сильнее всего: он со мной не соревновался. Он просто забирал своё, а я оказалась досадным препятствием на пути, и от его спокойной уверенности во мне поднималось что-то очень древнее и очень громовское — то, что дед называл коротко: нельзя, чтобы наше ушло к чужому только за то, что чужой громче хочет.

— Шестьдесят, — сказала я.

— Сто, — сказал он.

Где-то на краю сознания дед качал головой: азарт — болезнь бедных, Кира, опусти табличку, это всего лишь вещь. Я знала, что он прав. Я всегда знала, что дед прав, — на этом было построено всё моё взрослое благополучие. Но рядом с правильным дедовским голосом впервые за много лет прорезался другой, тонкий и упрямый, который я в последний раз слышала в двадцать лет, до того как заперла его в дальний ящик вместе с прежней Кирой. Этот голос говорил: а хоть раз в жизни — не потому что выгодно, а потому что хочется.

Сто тысяч за латунную лампу неизвестного происхождения. Это было уже неприлично, это было далеко за пределами всякой сметы, и умная женщина, отвечающая в этой

семье за здравый смысл, должна была опустить табличку, улыбнуться и уступить сумасшедшему его игрушку. Аукционист посмотрел на меня с той же мыслью на лице.

Я подняла табличку.

— Сто двадцать, — сказала я, и мой собственный голос показался мне чужим.

Впервые за вечер незнакомец повернулся и посмотрел прямо на меня. У него были внимательные, холодные, очень умные глаза, и в них не было ни злости, ни высокомерия — было любопытство, как у шахматиста, который неожиданно обнаружил напротив себя не пустой стул, а достойного противника. Он смотрел на меня несколько секунд, будто заново пересчитывал, и я почувствовала себя не женщиной с табличкой, а строкой в чьём-то чужом отчёте, которую сверяют с реальностью.

— Знаете, — сказал он, обращаясь уже ко мне одной, хотя слышал весь двор, — мы можем гнать эту цену до утра. Вы не уступите — я вижу. Я не уступлю — уж поверьте. И фонд, конечно, только выиграет, но вещь в итоге достанется тому, у кого сегодня оказалось больше упрямства, а не больше права. Предлагаю решить иначе.

— Иначе — это как? — спросила я, хотя умная женщина не стала бы спрашивать.

— Пари, — сказал он просто. — Я утверждаю одну вещь. Давнюю, спорную, касающуюся, скажем так, истории. Если я прав — лампа моя, а я плачу за неё названную сумму в

ваш фонд и называю одно условие, которое вы исполните. Если я неправ — лампа ваша даром, а условие называете вы. В любом случае «Первый шаг» получает свои сто с лишним тысяч. Проигравших нет. Кроме одного из нас.

Это было абсурдное предложение. Это было предложение, на которое ни один вменяемый управленец не соглашается, потому что оно всё построено на том, чего я больше всего в жизни избегаю, — на неизвестной переменной. Я не знала, что за «давняя спорная вещь». Я не знала условия. Я не знала о нём вообще ничего, кроме того, что он смотрит на латунную лампу как на семейную реликвию и торгуется, как человек, привыкший всегда быть правым.

Умная женщина сказала бы «нет».

— Идёт, — сказала я и протянула руку.

Я до сих пор не могу себе этого объяснить. Тридцать лет я не подписывала ничего, чего не прочитала до последней сноски. Тридцать лет я была в этой семье той единственной, кто переворачивает каждый лист и требует полную смету, прежде чем поставить подпись. Я выросла на историях о том, как из-за одной подписи не глядя рушатся жизни, — в нашем доме это чуть ли не семейное проклятие. И вот я, Кира Громова, стою посреди собственного аукциона и жму руку незнакомцу под пари, условий которого не слышала, ставя на кон вещь, которой не знаю цены.

Его ладонь была сухой и прохладной, а пожатие — точным, ни на грамм сильнее необходимого. Так жмут руку не

для того, чтобы понравиться, а чтобы закрыть сделку.

— Марк, — сказал он. — Марк Соболев.

— Кира Громова, — сказала я. — Но вы, кажется, и так знаете.

— Знаю, — согласился он без улыбки. — Про вашу семью, Кира, я знаю больше, чем вы думаете. Возможно, даже больше, чем вы сами.

Аукционист, растерянно улыбаясь, объявил лот проданным «на условиях, согласованных сторонами лично», и двор вежливо поаплодировал, приняв всё за милую светскую эксцентрику. Никто, кроме нас двоих, не понял, что здесь только что произошло что-то настоящее.

— И в чём же ваше пари? — спросила я, забирая с бархатной подушки лампу, которая, к слову, до разрешения спора не принадлежала ни ему, ни мне. Она оказалась тяжелее, чем я думала, — тяжёлой, как всякая честная вещь. — Что вы намерены доказывать?

— Не сегодня, — сказал он. — Хорошие условия, как хорошее вино, не оглашают на аукционе. Я приду за своим. Скоро.

— А если выиграю я?

— Не выиграете, — сказал он мягко, без всякой рисовки, как человек, называющий факт. — Но попытаться стоило хотя бы ради того, чтобы я увидел, как Громовы держат удар, когда играют не в свою игру. Приятно было познакомиться, Кира. Берегите лампу. Она вам ещё пригодится — правда,

не думаю, что так, как вы себе представляете.

Он коротко наклонил голову — не поклон, отметка — и ушёл в осенние сумерки, не назвав ни условия, ни того давнего спора, ни причины, по которой человек, которого я вижу впервые в жизни, смотрит на меня как на кого-то, кому давно и лично что-то задолжали.

Я осталась стоять с чужой лампой в руках, посреди своего идеально организованного праздника, и впервые за много лет чувствовала себя не той, кто держит банк, а той, кто только что, не считая, сделала ставку вслепую.

Я машинально, по привычке оценивать всё, что попадает мне в руки, повернула её к свету — и заметила у самого края основания полустёртую гравировку. Не клеймо мастера. Буквы. Я разобрала лишь часть — «...бол...» и дальше цифры, съеденные временем, — и маленький вензель в виде якоря. Тогда я не придала этому значения: мало ли инициалов на старой корабельной утвари. Я убрала лампу в футляр и забыла о ней до того дня, когда она едва не разнесла вдребезги всё, что я тридцать лет так старательно держала в равновесии.

Ко мне подошла Надя, жена Глеба, — единственная, кто, кажется, заметил, что светская сценка была не совсем светской.

— Кто это был? — спросила она тихо.

— Понятия не имею, — сказала я честно. — Некто Соболев. Утверждает, что знает о нашей семье больше нас самих.

Надя посмотрела вслед ушедшему и нахмурилась — она четыре года прожила рядом с человеком, который прятал правду за вежливостью, и научилась чуять таких за версту.

— Кира, — сказала она осторожно, — я в этой семье недавно, но одно усвоила твёрдо: когда кто-то говорит, что знает о Громовых больше самих Громовых, — это, к сожалению, чаще всего правда. И почти всегда неприятная.

Я проводила взглядом широкую спину Соболева, растворявшуюся между гостями, и поймала себя на неуютной мысли: за весь вечер он ни разу не улыбнулся той дежурной улыбкой, которой в нашем кругу улыбаются все и всему. Люди, которые не тратят улыбок впустую, обычно берегут их для чего-то одного — и это одно у них, как правило, не про радость. Я слишком много лет читала людей по их отчётности, чтобы не почувствовать: этот пришёл на мой праздник не веселиться и не жертвовать. Он пришёл забрать. А лампа была только первой строкой описи.

Я хотела отшутиться, что у нас в холдинге не бывает неприятных правд, есть только неверно оформленные, — но не отшутилась. Потому что в этот момент дед, Аркадий Петрович, который весь вечер сидел в кресле у камина и, казалось, дремал, вдруг подозвал меня взглядом, и, когда я подошла, спросил тихо, глядя не на меня, а на лампу в моих руках:

— Где ты это взяла?

— Купила. Точнее, поспорила. Лот сорок семь, дед, не бе-

ри в голову, обычная старая...

— Кто продавец? — перебил он, и голос у него был не тот, каким главы семьи спрашивают о пустяках. — Кто её сдал в фонд?

— Анонимный жертвователь, — сказала я. — А что?

Дед долго молчал, глядя на потемневшую латунь, и его лицо, обычно непроницаемое, как годовой баланс, вдруг сделалось старым и незащищённым — таким я не видела его никогда.

— Дед, — сказала я осторожно, тем голосом, каким в детстве спрашивала, почему у нас нет ни одной фотографии до моего рождения, — ты знаешь эту лампу? Он не ответил. Он протянул руку и коснулся латуни одним пальцем — бережно, как касаются надгробия, — и я увидела, что у деда, чья рука не дрогнула ни когда он подписывал контракты на миллиарды, ни когда хоронил жену, эта рука дрожит над старой корабельной лампой неизвестного происхождения. И вот тогда мне стало по-настоящему не по себе.

Мой дед боялся немногого, и список я знала наизусть: он боялся потерять кого-то из нас — и боялся дня, когда придётся отвечать за что-то, сделанное очень давно. Лампа в моих руках, судя по его лицу, относилась ко второму пункту.

— Ничего, — сказал он наконец, и это «ничего» весило больше, чем всё, что он сказал мне за тридцать лет. — Убери её. И, Кира... если этот твой спорщик придёт, — а он придёт, — не подписывай ему ничего. Слышишь? Ничего, пока не

покажешь мне.

Я пообещала. Разумеется, я пообещала.

Я пообещала легко, потому что обещание звучало разумно, а всё разумное я привыкла исполнять не раздумывая. Я не знала ещё, что дед опоздал со своим предостережением ровно на час. Что нельзя предупредить человека не подписывать бумаг, если он уже поставил подпись — не пером, а ладонью, под пари, условий которого не слышал. Что где-то в осенних сумерках уходит человек, держащий в голове всю неоплаченную часть нашей семейной истории, — а я только что своими руками впустила его в дом.

Я тогда ещё не знала, что уже опоздала: самую опасную свою подпись за этот вечер я поставила час назад — рукопожатием, не глядя.

Глава 2. Условие

Наутро он пришёл. Я до последнего надеялась, что вчерашнее пари растворится вместе с шампанским и осенними сумерками, что человек по фамилии Соболев окажется красивой светской случайностью, о которой к понедельнику забываешь. Но в девять ноль-ноль, минута в минуту, мне позвонили с ресепшена «Громов-Тауэр» и сообщили, что меня спрашивает господин Соболев по личной договорённости.

Личной договорённости. Я оценила формулировку. Он не соврал администратору — договорённость действительно была личной, вчерашней, скреплённой моей же рукой. Просто теперь эта формулировка звучала не как светская любезность, а как повестка.

Я велела проводить его наверх и потратила отпущенные лифтом сорок секунд на то, чтобы вернуть лицо в его рабочее положение — то, за которое подчинённые за глаза звали меня «Госпожа Баланс». Я умею выглядеть непроницаемой. Это, пожалуй, единственное, что я умею делать безупречно и без усилий: тридцать лет практики на людях, которые всё время ждут, что девочка-операционный-директор вот-вот дрогнет.

Мне это далось не даром. Непроницаемость — не характер, а навык, наработанный годами, как подпись или удар

слева. В двадцать я краснела и оправдывалась. К тридцати я научилась держать лицо ровным при любых цифрах, потому что операционный директор, у которого дрожит лицо, — это минус пять процентов к капитализации на одном заседании совета. Я стала стеной. Стены надёжны. У стен один недостаток: за ними иногда так тихо, что перестаёшь слышать саму себя.

«Громов-Тауэр» — моя территория. Стекло, сталь, сорок этажей выверенного порядка, вид на город, который отсюда кажется таблицей, где я знаю каждую ячейку. Здесь я никогда не проигрываю, потому что здесь всё посчитано мной. Я нарочно приняла его не в переговорной, а в своём кабинете, на своём этаже, за своим столом — чтобы напомнить нам обоим, кто на чьём поле.

Он вошёл и обвёл кабинет одним коротким взглядом — не восхищённым, а оценивающим, — и я поняла, что мой стеклянный порядок он читает так же быстро и так же насквозь, как я читаю чужие балансы. Это было неприятно. Так себя чувствует хозяйка, у которой гость с порога заметил, что картина висит на два сантиметра криво.

— Доброе утро, Кира, — сказал он. Без «госпожи Громовой». Как будто мы вчера не поспорили на реликвию, а договорились встретиться. — Спасибо, что приняли. Я ненадолго. Пришёл назвать условие.

— Присаживайтесь, — сказала я, не вставая. — И давайте сразу проясним. Вчера был благотворительный вечер, шам-

панское и, будем честны, минута слабости с обеих сторон. Я готова считать лампу вашей, перечислить деньги в фонд и разойтись, как разумные люди. Без всяких условий.

— Разумные люди не отказываются от собственного слова наутро, — сказал он мягко, садясь напротив. — Вы же Громова. У вас, говорят, слово крепче договора. Или это только в рекламных проспектах холдинга?

Он попал точно. В нашей семье это почти религия: Громов не берёт слово назад. Дед вбил это в нас с детства вместе с таблицей умножения — рукопожатие крепче печати, потому что печать можно оспорить, а себя не оспоришь. Я тридцать лет носила это правило как знак качества. И вот теперь оно захлопнулось на мне, как капкан, который я сама же и зарядила.

— Я слушаю условие, — сказала я.

— Месяц, — сказал он. — Один месяц я работаю рядом с вами. Не в штате, не с доступом к финансам — просто наблюдателем при одном активе холдинга. Я смотрю, задаю вопросы, читаю то, что вы мне покажете. Через месяц я либо уйду навсегда и забываю дорогу к Громовым, либо... — он чуть помедлил, — либо мы с вами продолжим разговор уже на других основаниях.

— Наблюдателем при активе, — повторила я. — Каком именно?

— К этому мы ещё вернёмся, — сказал он. — Сначала вы согласитесь. Условие пари в том и состоит, что вы принима-

ете его, не торгуясь по мелочам. Иначе это не проигрыш чести, а обычные переговоры, а переговоры вы, я слышал, ведёте так, что от оппонента остаётся только благодарственное письмо.

Я почти улыбнулась. Почти. Мне не нравилось ничего в этом человеке, но у него была одна черта, которую я ценю в людях больше остальных и встречаю реже всего: он не тратил слов. Каждое стояло на своём месте и несло вес. Так говорят люди, привыкшие, что за каждое сказанное придётся отвечать.

— Вы меня изучали, — сказала я. Не вопрос. — «Слышал», «говорят». Вы пришли на вечер, куда попадают только по именным приглашениям; вы знали, кто я; вы знали про наше семейное правило слова. Для человека, который случайно поспорил из-за лампы, вы слишком хорошо подготовлены. — Я вообще плохо умею делать что-либо случайно, — сказал он спокойно. — Это семейное. Отец говорил: случайность — это расчёт, который поленились довести до конца. Я не ленюсь. — А ваш отец, простите, кто? — спросила я, потому что в нашем кругу это первый вопрос, по которому считают человека: чей ты, из каких, где твои корни в этой сети фамилий и капиталов. Он усмехнулся — впервые за всё утро, и усмешка вышла невесёлой. — А вот это, Кира, как раз к предмету нашего пари. Всему своё время.

— Дайте мне час, — сказала я. — Прежде чем дать слово во второй раз, я хочу хотя бы прочитать то, подо что подпи-

сываюсь. В отличие от вчерашнего.

— Разумно, — согласился он и встал. — Час у вас есть. Но не больше, Кира. Я не люблю, когда сделку, уже скреплённую рукой, начинают обкладывать бумагами, чтобы выхолостить. Это по-громовски, но некрасиво.

Он ушёл ждать в приёмную, а я вызвала Дани.

Дани пришёл через четыре минуты, уже с папкой, уже всё зная, — у нас в холдинге новости о неприятностях распространяются быстрее, чем о прибыли.

— Ну что, азартная ты моя, — сказал он, разваливаясь в кресле, где минуту назад сидел Соболев. — Я же говорил, что однажды увижу, как ты ставишь без счёта. Не думал, что так скоро и так масштабно. Рассказывай, во что мы вляпались.

— Мы ни во что не вляпались, — сказала я. — Я вляпалась. Скажи мне как юрист: я могу отказаться? По-человечески — не спрашиваю, по закону.

— По закону, — Дани развёл руками, — вчера не было ни договора, ни свидетелей под протокол, ни предмета. Пари на словах ничтожно. Ты можешь послать его и быть абсолютно чиста перед любым судом.

— А по-громовски?

Дани помолчал. Он знал нашу семью не хуже нас самих — он был при нас юристом ещё тогда, когда я была двадцатилетней девочкой, разгребавшей чужие долги.

— А по-громовски, — сказал он тихо, — ты дала слово.

При свидетелях, которые тебя знают. И если Кира Громова возьмёт слово назад, потому что стало неудобно, — это увидят все, кто держит холдинг на честном имени. Твой дед сорок лет строил репутацию на том, что Громовы не отказываются от рукопожатия. Ты правда хочешь стать той, кто первой из семьи это правило нарушит? Из-за латунной лампы?

Вот за это я и держу Дани. Он всегда называет цену не той сделки, о которой ты спрашиваешь, а той, которую ты на самом деле заключаешь.

— Не хочу, — сказала я.

И это была чистая правда. Я могла бы вывернуться — юридически я была свободна как ветер. Но свобода эта стоила бы ровно столько, во сколько наша семья тридцать лет оценивала своё слово, а это слишком дорогая валюта, чтобы тратить её на побег от собственного любопытства. К тому же — и в этом я не призналась бы даже Дани — мне было интересно. Впервые за очень долгое время мне было по-настоящему, до зуда, интересно: что за человек готов купить месяц рядом со мной ценой латунной лампы и что за актив он ищет с таким лицом, с каким ищут не выгоду, а справедливость.

— Тогда не спрашивай меня, как выскочить, — сказал он. — Спрашивай, как обставить так, чтобы месяц этого твоего наблюдателя не стоил холдингу ни одной лишней тайны. Вот тут я тебе полезен.

— И ещё, — добавил Дани, понизив голос. — Пока ты играла в шпионские страсти, я навёл справки. Марк Собо-

лев, «Соболев Капитал», собственная контора, Питер. Скупает то, что все списали: убитые заводы, долги, безнадежные активы, — вычищает, поднимает, продаёт. В своём деле хирург: жёсткий, точный, слово держит железно, в грязных схемах не замечен. Но вот что интересно. — Он выдержал паузу, которую я слишком хорошо знала: так Дани подаёт то, что тревожит его самого. — Я не нашёл, откуда он взялся. Ни университета, ни первых денег, ни родни. Человек будто соткался из воздуха лет пять назад — уже взрослым, уже с капиталом, уже холодным. Так не бывает, Кира. У каждого капитала есть родословная. А у этого её будто стёрли. — Стёрли, — повторила я, и слово мне не понравилось. Я ещё не знала, как скоро услышу его снова.

Мы обставили. Мы составили короткое соглашение о неразглашении на три страницы, где господин Соболев допускался к строго очерченному кругу сведений, без доступа к финансам, персональным данным и стратегии, под моим личным сопровождением, сроком на тридцать календарных дней. Дани вписал туда столько предохранителей, что бумага стала похожа на смету реставрации: сплошные несущие конструкции и ни одного лишнего окна.

Через час я позвала Соболева обратно и положила перед ним три страницы.

— Моё слово в силе, — сказала я. — Месяц вы получаете. Но читать вы теперь тоже будете — вот это. До конца. Прежде чем подписать.

Он взял листы и сделал то, чего я, честно говоря, не ожидала. Он действительно прочитал их — весь, до последней сноски, медленно, шевеля губами на особо хитрых оборотах Дани, — так, как читает человек, для которого «подписать не глядя» есть смертный грех, а не фигура речи. Он читал мой договор дольше, чем иные читают завещание, и я вдруг поймала себя на том, что смотрю на него с чем-то, опасно похожим на уважение.

— Хорошая работа, — сказал он наконец, кладя листы. — Ваш юрист заложил здесь мину под пунктом седьмым: любой спор — в вашей юрисдикции, при вашем арбитре. Я подпишу. Но одну поправку внесу.

Он взял ручку и от руки, аккуратным, точным почерком, дописал внизу одну строку, а потом развернул лист ко мне.

«Стороны обязуются сообщать друг другу правду по вопросам, входящим в предмет соглашения, — или молчать, но не лгать».

— Что это? — спросила я.

— Мой единственный пункт, — сказал он. — Считайте это профессиональной деформацией. Я всю жизнь имею дело с людьми, которые улыбаются и врут. С вами, Кира, мне это будет неинтересно. Молчать — сколько угодно. У каждого из нас есть, что скрывать, и это честно. Но не лгать. Идёт?

Я смотрела на эту строчку — «молчать, но не лгать» — и не понимала, почему у меня по спине прошёл холодок. Позже я поняла: это была первая честная вещь, которую кто-то

предложил мне за очень долгое время, и от честности, оказывается, отвыкаешь так же, как от азарта.

Странная это была сделка. Обычно люди, садясь со мной за стол, выторговывают гарантии, отсрочки, неустойки — то, что можно потом предъявить. Этот выторговал себе право на мою правду и обязал себя своей. Как будто единственная валюта, которая его всерьёз занимала, — не деньги и не доступ, а то, врут ему или нет. Я знала в холдинге ровно одного человека с такой валютой. Себя.

И, возможно, поэтому я его и боялась. С людьми, устроенными иначе, я умею играть с закрытыми глазами. А против собственного отражения приёмов у меня не было.

— Идёт, — сказала я и впервые за это утро протянула руку сама.

Мы подписали. На этот раз — глядя.

— А теперь, — сказала я, убирая свой экземпляр, — раз уж мы договорились не лгать: к какому активу вы просите доступ? У холдинга их полторы сотни. Назовите, и я подниму документы.

— «Речной причал», — сказал он.

Я ждала чего угодно. Ресторанной сети, девелоперского проекта, инвестиционного портфеля — того, за что обычно приходят к Грозовым люди с холодными глазами и собственным капиталом. Но «Речной причал» мне не говорил ничего. Совсем. А я знаю наизусть каждую из полутора сотен строк нашего реестра активов, знаю по памяти, какая ко-

гда куплена и сколько приносит, — это в буквальном смысле моя работа.

— У нас нет такого актива, — сказала я. — Ни в основном контуре, ни в дочерних, ни в спящих. Я бы знала. Вы ошиблись адресом, господин Соболев. Возможно, вы ищете другой холдинг.

Он посмотрел на меня внимательно — тем самым шахматным взглядом, что и вчера, — и я готова была поклясться, что в его глазах мелькнуло что-то похожее на сочувствие. Что было совсем уж неуместно.

— В том-то и дело, Кира, — сказал он тихо. — Что вы бы знали. Вы знаете всё, что было в реестрах вашей семьи последние тридцать лет. А «Речной причал» из них исчез тридцать один год назад. Его не продали и не закрыли. Его вычеркнули. И, судя по вашему лицу, так аккуратно, что даже вы, знающая каждую ячейку, никогда не слышали этого названия.

Он поднялся, застегнул пиджак и у двери обернулся.

— Спросите деда, — сказал он. — Он помнит. Он единственный, кто ещё помнит. До завтра, госпожа Баланс.

И вышел, оставив меня одну посреди моего идеального стеклянного кабинета — с ощущением, что в безупречной таблице, которую я тридцать лет свожу до копейки, только что обнаружилась целая строка, которую кто-то стёр ластиком ещё до того, как я научилась читать.

Разумеется, я не стала спрашивать деда. Я поступила так,

как поступаю всегда, когда в моей стройной картине мира появляется трещина: полезла считать сама.

Я подняла архив реестра активов — весь, до дна, до пожелтевших сканов документов начала девяностых, которые мы оцифровали, но которые никто, кроме аудиторов, не открывает. Искала «Речной причал» по названию, по отрасли, по всем мыслимым написаниям. Ничего. Актива с таким именем в истории холдинга не существовало.

И всё же Соболев не походил на человека, который приходит блефовать в лоб, на чужом поле, под подписанным им же обязательством не лгать. Поэтому я стала искать не название, а его отсутствие. Выстроила все активы холдинга по внутренним учётным номерам — от самого первого, присвоенного ещё дедом в девяносто первом, — длинную ровную нумерацию, мою любимую, потому что в ней тридцать лет порядка. И на девяносто третьем годе нашла то, чего быть не должно.

Пропуск. Между активом сорок один и активом сорок три не было актива сорок два. Он не значился «закрытым», «проданным», «списанным с такой-то даты», как положено, — он просто отсутствовал, вынутый, как вырезанная из книги страница, от которой остаётся чуть более узкий корешок. Тридцать один год этого никто не замечал, потому что никто, кроме меня, не выстраивает всю нумерацию в один ряд ради удовольствия видеть, что она сходится.

Она не сходилась. Впервые за тридцать лет мой безупреч-

ный реестр не сходиллся ровно на одну строку — и эту строку кто-то убрал так давно и так тщательно, что она успела зарости, как тропинка, которой перестали ходить.

Актив номер сорок два. «Речной причал». Я записала это на листке — от руки, как записываю только то, чему не доверяю никакой системе, — и под названием, сама не знаю зачем, нарисовала маленький якорь. Такой же, как полустёртый вензель на основании лампы, что лежала сейчас в нижнем ящике моего стола, завёрнутая в бархат, тяжёлая и молчаливая, как всё, что эта семья когда-то предпочла не помнить.

Я долго сидела над этим аккуратным пропуском и думала о двух вещах сразу. О человеке без прошлого, которого будто соткали из воздуха. И об активе без номера, который будто вырезали из книги. Два стёртых начала, потянувшиеся друг к другу через тридцать лет — и через мою протянутую не глядя руку.

Я сняла трубку, чтобы позвонить деду. И положила обратно. Я вспомнила его лицо вчера, над латунной лампой, — старое, беззащитное, чужое, — и впервые в жизни испугалась задать деду вопрос. Потому что есть вопросы, после которых семья уже не бывает прежней; и я, всегда хотевшая знать всё до последней цифры, вдруг поняла, что не уверена, хочу ли знать ответ на этот.

«Спросите деда. Он единственный, кто ещё помнит». Соболев знал, куда бить. Он не притворялся, будто владеет тай-

ной, — он просто показал мне, что тайна есть, и ушёл, предоставив ей самой делать всю работу. Умно. Терпеливо. Жесток. И, если быть до конца честной — а мы, кажется, только что подписались быть честными, — ровно так же поступила бы я. Наверное, поэтому я весь остаток дня не могла выкинуть из головы ни лампу, ни пропущенный номер, ни его последнюю усмешку. Одинаковые люди всегда узнают друг друга — обычно за секунду до того, как становятся друг другу опасны.

Что ж. Если он хотел месяц — он его получил. Я только не стала уточнять, что за этот же месяц собираюсь узнать о господине Соболеве ровно столько, сколько он, по его словам, знает о нас. Пари так пари. В эту игру, дорогой мой варяг, умеют играть двое.

Глава 3. Варяг

В нашем деле есть правило, которого нет ни в одном учебнике по управлению, но которое я вывела сама за пятнадцать лет за столом переговоров: если не можешь просчитать человека на расстоянии — посади его напротив и считай вблизи. Поэтому наутро я не отправила Марка Соболева наблюдать за активом, которого не существует. Я посадила его наблюдать рядом с собой.

— Раз уж вашего «Речного причала» нет в природе, — сказала я, когда он явился в девять, минута в минуту, как и накануне, — а месяц вы выторговали себе честно, то наблюдать будете то, что есть. Меня. Мой рабочий день. Так вы хотя бы поймёте, как холдинг устроен на самом деле, а не как вам про него напели.

Он выслушал это, стоя посреди приёмной с тем спокойным вниманием, с каким слушают не распоряжение, а любопытный ход противника.

— Принимается, — сказал он. — С одной поправкой. Наблюдать я буду не вас. Я буду смотреть, как вы принимаете решения. Это разные вещи, Кира. Женщину видно по тому, что она говорит. Директора — по тому, что она подписывает.

— А человека? — спросила я, хотя умная женщина не стала бы спрашивать.

— А человека — по тому, от чего он отказывается, — сказал он ровно, и это была уже третья честная вещь, которую он сообщил мне за два дня знакомства, и все три почему-то оказались неудобными.

Я выдала ему гостевой пропуск с малиновой полосой «сопровождение обязательно», усадила за стеклянный стол в переговорном аквариуме в двадцати шагах от своего кабинета — так, чтобы видеть его затылок, не поворачивая головы, — и объявила, что рабочий день начинается в девять, а заканчивается тогда, когда заканчивается работа, а не когда гость устал. Он снял пиджак, повесил его на спинку кресла, отвернул манжеты — и я поймала взглядом то, чего не заметила ни на аукционе, ни накануне. Запонки. Маленькие, тёмного старого серебра, в виде якоря. Точно такого же якоря, какой я вчера, сама не зная зачем, нарисовала от руки на листке под словами «Речной причал». Я ничего не сказала. Я просто отметила это про себя — как отмечаешь в чужом балансе строку, которая пока не сходится, но однажды непременно сойдётся.

Первый день вышел долгим и странным. Я привыкла работать под взглядами — совет, подчинённые, партнёры, репортёры на форумах, — но те взгляды я давно научилась не замечать, потому что все они чего-то от меня хотели: решения, денег, отсрочки, милости. Этот не хотел ничего. Он просто смотрел, как я работаю, и от его ровного внимания у меня весь день держалось между лопаток лёгкое напряжение

— будто кто-то читает через плечо мои черновики, пока я ещё не решила, начисто это или на выброс.

К обеду я разбирала спор с подрядчиком ресторанной сети. «Гром» задерживал расчёты, поставщик срывал сроки, юристы с обеих сторон уже точили неустойки друг на друга. Я могла раздавить маленькую фирму одним письмом — у нас был на это и повод, и вес, и подпись. Я не стала. Я вычитала в их отчётности то, что проглядели мои собственные юристы: у поставщика весной сгорел склад, он держался на честном слове и старых связях, но держался. Я растянула ему долг на полгода и оставила в деле.

— Почему? — спросил Марк, когда фирму отключили от селектора. Это был его первый вопрос за три часа. — По бумагам вы могли забрать у них всё. Они не отсудили бы и рубля.

— Потому что мёртвый поставщик ничего не поставляет, — сказала я. — А живой, которому ты однажды не переломил хребет, когда мог, помнит это дольше, чем любой контракт.

— Это не по бумагам, — сказал он. — Это по совести.

— Это по расчёту, — поправила я. — Просто расчёт на длинном плече. Совесть тут ни при чём, поверьте.

Он посмотрел на меня своим шахматным взглядом — тем, каким заново пересчитывают доску, — и сказал негромко, без всякого нажима:

— Знаете, Кира, вы третий час подряд доказываете мне,

что вы счётная машина без сердца. И третий час подряд у вас это не выходит. Вы только что спасли живого человека и назвали это арифметикой — по-моему, для того лишь, чтобы самой не испугаться.

Я не нашлась, что ответить, и это было ново. Крайне неприятно, когда тебя читают тем же самым почерком, каким ты всю жизнь привыкла читать других, — и читают, кажется, без малейшего усилия.

К вечеру я заметила, что он что-то пишет. Весь день — короткими сериями, от руки, в потрёпанный блокнот на пружине, какого не увидишь у людей его достатка. Он не при­трагивался к телефону, не открывал ноутбук, не просил документов. Он просто смотрел и записывал, и это нервировало меня сильнее, чем если бы он копался в наших цифрах.

— Что вы там пишете второй день подряд? — не выдержала я, когда солнце ушло за соседние башни. — Если протоколируете сделки, напомним про третий пункт: никакой фиксации коммерческих данных.

— Ваши сделки мне неинтересны, — сказал он и, поймав мой взгляд, впервые за день чуть усмехнулся — коротко, одними глазами. Потом развернул блокнот ко мне. Там не было ни цифр, ни схем, ни фамилий — только строчки от руки, вкось. «Спасает тех, кого вслух называет активами. Злит­ся, когда ловят на добром. Обедает стоя, у окна, хотя подчинённым обеденный час назначила обязательным».

— Вы за мной подглядываете, — сказала я, и голос вышел

не таким твёрдым, как мне хотелось.

— Я вас изучаю, — поправил он моими же словами из первого утра. — Вы ведь тоже меня изучаете, Кира, не отпирайтесь. Разница только в том, что вы честнее ведёте досье — сразу отдаёте его своему Северову. А я по старинке, от руки и только для себя.

Я хотела сказать что-нибудь холодное и закрывающее тему, но не сказала. Он был прав, а я не привыкла проигрывать в точности формулировок. И ещё потому не сказала, что за весь этот длинный день никто, кроме него, ни разу не посмотрел на меня как на человека, которому просто жаль тратить на себя обеденный час. Меня давно видели как должность, как подпись, как несущую балку холдинга — и вдруг чужой, опасный, совершенно не нужный мне человек за два дня разглядел то, чего не заметили за десять лет те самые люди, ради которых я эту балку и держу.

Ближе к вечеру в аквариум без стука заглянул Глеб. Мой младший брат входит в любую дверь так, будто уже прикинул, за сколько её можно перепродать. Он оглядел Марка от якорных запонок до ботинок с той профессиональной наглостью, с какой оценивают чужой актив перед недружественным поглощением.

— Так вот он какой, твой трофей с аукциона, — сказал Глеб. — «Соболев Капитал», Питер. Скупаете покойников, чините и продаёте воскресших. Я вас знаю по сделке с «Северной верфью» — красиво сработано, чисто, по нотам.

Только санитары леса тоже красиво работают. А всё равно санитары.

Марк не поднялся ему навстречу и руки не подал — просто посмотрел снизу вверх, спокойно и без вызова.

— А вы, стало быть, тот самый Глеб Громов, — сказал он. — Который скупал долги собственных конкурентов через три подставные прокладки, чтобы душить их тихо и в белых перчатках. Мы с вами одной крови, Глеб. Разница только в том, что я не прячусь за родовой герб.

Воздух в аквариуме загустел. Я знаю этот звон в тишине — так звенит перед тем, как двое умных мужчин делают друг другу очень дорого. Я встала.

— Достаточно. Глеб, это моё пари и мой гость, я разберусь без секунданта. А вы, Марк, — я впервые назвала его по имени вслух, и это вышло само собой, — запомните: у нас в семье принято мерить людей самим, а не по чужому досье. Даже когда досье лестное.

Глеб хмыкнул, но отступил — он дерзкий, но не дурак, и операционную часть за мной признаёт.

— Смотри, сестрёнка, — бросил он от двери. — Таких, как он, я чую носом за версту. Он пришёл не наблюдать. Он пришёл забирать. Весь вопрос в том, что именно и у кого. — И ушёл, оставив меня с неуютным чувством, что мой брат-рейдер и мой гость-варяг за одну минуту поняли друг про друга больше, чем я про каждого из них — за годы и за дни.

— Он прав? — спросила я, когда мы снова остались вдво-

ём и стеклянные стены отгородили нас от опустевшего этажа. — Вы пришли забрать? У нас с вами уговор: молчать можно, лгать нельзя. Так вот я спрашиваю прямо.

Марк молчал долго — так долго, что я поняла: он не увиливает, он честно взвешивает, что имеет право сказать под собственной же поправкой.

— Я пришёл забрать то, что у моей семьи забрали первыми, — сказал он наконец. — По этому пункту больше пока промолчу, с вашего позволения. Но лгать не стану, Кира: в этой истории вам придётся выбрать сторону. И мне очень не хотелось бы, чтобы вы оказались не на своей.

Я хотела спросить, что это за «первыми» и кто у кого что забрал, но он уже надел пиджак, и якорь на его запонке коротко блеснул под лампами, и я вдруг ясно, всей кожей поняла, что ответ на этот вопрос лежит не в его питерских реестрах и не в бумагах «Соболев Капитала», а гораздо ближе. В моём собственном доме.

В воскресенье в «Соколином» был семейный ужин — те самые ужины, на которых в нашей семье решается всё важное, потому что за столом у камина дед перестаёт быть патриархом и делается тем, кем не бывает в зале совета: просто старым человеком, который любит своих до боли и смертельно боится их пережить. Стекло и сталь остаются в городе. Здесь пахнет дровами, яблочным пирогом Сони и немного — сердечными каплями деда, и от этого запаха я каждый раз оттаиваю против собственной воли, как ни держи лицо.

Я приехала не ужинать. Я приехала смотреть.

— Дед, — сказала я между вторым и чаем, разглядывая свою тарелку так, будто спрашиваю о совершенном пустяке, — тебе фамилия Соболев что-нибудь говорит?

За столом ничего не переменилось. Соня разливала чай, маленький Саша строил из вилок мост через блюдце с вареньем, Максим вполголоса втолковывал Артёму что-то про смету восточного крыла, Надя смеялась. Никто, кроме меня, не смотрел на деда в эту секунду. А я смотрела. И увидела, как его рука с чашкой замерла на полпути ко рту — на долю мгновения, на один удар сердца, — а потом спокойно продолжила движение, словно заминки и не было. Только чай он в тот вечер так и не выпил. Чашка простыла у его локтя нетронутой.

— Нет, — сказал он тем ровным голосом, каким тридцать лет закрывал невыгодные переговоры. — А должна?

И я, которая всю сознательную жизнь верила деду больше, чем себе самой, впервые точно, без всякого «кажется», знала, что он лжёт. Не «возможно, недоговаривает». Лжёт — так же твёрдо, как я знаю, что дважды два четыре. Потому что я видела руку. Язык дед научился держать в узде полвека назад. А рука не умеет лгать так, как выучился язык.

Позже, когда все разбрелись по дому и Саша уснул на диване, дед подозвал меня в свой кабинет — тот, где на стене в простой рамке висит первый заработанный им рубль и где пахнет старой бумагой и валокордином. Он сел не в кресло,

а на самый краешек, как садятся, когда собираются говорить недолго и трудно.

— Ты купила лампу, — сказал он без предисловий. — Ты привела в башню человека без роду-племени и держишь его при себе месяц. А теперь спрашиваешь меня про фамилию Соболев и смотришь, как я держу чашку. Кира, девочка, ты умнее всех троих моих сыновей, вместе взятых, поэтому скажу тебе то, чего им не сказал бы: есть строки, которые милосерднее не сводить. Есть счета, которые лучше оставить неоплаченными до самого конца. Прекрати это пари. Заплати ему любую неустойку — я покрою из личного. Но не пускай его дальше в дом.

— Кто он тебе, этот Соболев? — спросила я тихо. — Дед, у тебя тридцать лет не дрожала рука ни на одном контракте. А на латунной лампе и одной фамилии — дрожит. Кто он тебе?

Дед долго молчал, глядя на свой первый рубль под стеклом.

— Никто, — сказал он наконец. — Он мне теперь никто. В этом-то всё и горе, Кира. Иные счета тем и страшны, что человека, которому ты задолжал, давно уже нет, а долг остался. И спросить с тебя за него может только тот, кто пришёл вместо него.

Больше он не сказал ни слова. Он поцеловал меня в лоб, как в детстве, попросил закрыть дверь с той стороны, и я ушла, унося с собой не ответ, а по два новых вопроса на каж-

дый прежний.

Разумеется, я не прекратила пари. Я Громова; во мне дедова кровь и дедово упрямство, и если мне говорят «не своди эту строку», я уже не могу думать ни о чём другом, кроме этой строки. В ту ночь я не уехала в город. Я осталась в «Соколином», в своей давно уже не девичьей комнате, и в третьем часу, когда старый дом окончательно заснул, спустилась в архив — не в парадный, что оцифрован и открыт аудиторам, а в настоящий, в подвале за котельной, где в железных боксах лежит то, с чего всё начиналось: первые тетради, первые накладные, первые фотографии дела, которому дед отдал жизнь.

Я искала девяносто третий год. Я знала теперь, что именно ищу: пропущенный актив номер сорок два, «Речной причал», вычеркнутую строку тридцатиоднолетней давности. Бокс с выцветшей биркой «1991–1994» стоял в самом низу стеллажа, тяжёлый, в паутине. Я села с ним прямо на холодный бетонный пол, как девчонка, и стала разбирать чужую молодость по накладным.

И молодость эта оказалась речной. Баржи. Буксиры. Накладные на дизель, канаты, краску-сурик. Пожелтевшая опись какого-то речного имущества, аккуратно перечёркнутая крест-накрест одной жирной чертой — без даты, без причины, без подписи; просто вычеркнутая, как вычёркивают то, о чём договорились больше никогда не вспоминать. Холдинг «Громов Групп», стекло и сталь, девелопмент и преми-

альные рестораны, начинался, оказывается, с воды и ржавого железа — с речной логистики, о которой в парадной истории компании не было ни единой строчки. Я тридцать лет считала, что знаю о своей семье всё. Я ошибалась на целую реку.

Я разбирала бокс методично, лист за листом, как привыкла разбирать любую отчётность, — но руки шли всё медленнее, потому что каждая накладная была живым голосом того времени, когда мой нестигаемый дед был просто молодым мужиком, который занял денег, купил ржавый буксир и поверил, что этого хватит на целую жизнь. Я нашла тетрадь в клеточку, где две руки — дедова и чья-то ещё, размашистая, летящая, — по очереди вписывали рейсы и выручку, деля пополам всё до копейки, по-честному, как делят только с тем, кому верят как себе. А потом, страниц через сорок, второй почерк оборвался. Просто закончился посреди строки, будто человека вынули из тетради на полуслове. Дальше дед вёл счёт один, и цифры в одиночку сделались крупнее и злее.

Я держала эту тетрадь и думала про поправку, которую Марк своей аккуратной рукой вписал в мой договор: молчать можно, лгать нельзя. Мой дед, выходит, за тридцать лет выбрал третье — вычеркнуть. Не солгал, не признался, а просто вырезал человека из тетради, из описи, из истории, как вырезают гнилую доску, чтобы не пошла трещина дальше по всему борту. И теперь сын той вырезанной доски сидел днём в двадцати шагах от меня и терпеливо ждал, пока я сама,

своими руками, найду то, что тридцать один год пролежало здесь, в паутине, под котельной.

А между накладными на баржи и той перечёркнутой описью лежала фотография. Одна. Каких в нашем доме нет ни единой — я с детства знала, что у нас почему-то не хранят снимков до моего рождения, и давно привыкла не спрашивать почему.

Двое молодых мужчин стояли на дощатом причале у борта старого речного буксира и щурились на солнце — молодые, худые, счастливые той особой счастливостью людей, у которых пока нет ничего, кроме общего дела и веры друг в друга. Одного я узнала сразу, хоть ему на снимке не было и сорока: дед. Молодой Аркадий Громов, каким я не видела его никогда, — без брони, без веса, без камня в лице; просто человек, который смеётся, запрокинув голову. А второго я не знала. Высокий, тёмный, поджарый, с внимательными холодными глазами, в которых даже на выгоревшем снимке ясно читался тот самый расчёт, который я третий день встречала в двадцати шагах от своего кабинета.

У него было лицо Марка Соболева. Не похожее — то самое, только на тридцать лет моложе. Тот же разрез глаз, та же линия скулы, та же манера стоять чуть боком к камере, будто и на дружеском снимке он не до конца доверяет тому, кто нажимает кнопку.

А на носу буксира, за их спинами, висел фонарь. Тяжёлая корабельная лампа в решётчатой латунной оправе. Та самая.

Я узнала бы её из тысячи — она лежала в эту самую минуту в нижнем ящике моего стола в башне, завёрнутая в бархат, тяжёлая и молчаливая, как всё, о чём эта семья предпочла забыть.

Я перевернула снимок непослушными пальцами — я, у которой не дрожат руки даже на девятизначных суммах. На обороте выцветшими фиолетовыми чернилами, круглым молодым почерком деда, стояли два слова и год.

«Мы, 1993».

Двое. «Мы». Дед — и незнакомец с лицом Марка Соболева. И между ними, на носу старого буксира, — та самая лампа, которую я неделю назад в азарте выиграла в пари у сына этого незнакомца, думая, что покупаю всего лишь кусок потемневшей латуни. Я сидела на холодном полу дедова подвала, в третьем часу ночи, с чужой молодостью в руках, и впервые в жизни отчётливо понимала: я выиграла не лампу. Я вскрыла строку, которую моя семья тридцать один год держала вычеркнутой. И сводить её теперь придётся мне — потому что в этой семье по всем счетам всегда плачу я.

Глава 4. Река

Я не спала в ту ночь. Я, которая гордится тем, что при любой отчётности сплю свои ровные шесть часов, до рассвета просидела на холодном полу дедова подвала с фотографией в руках, разглядывая два молодых лица, пока не начало светать и молодой смеющийся дед на снимке не сделался мне совсем чужим. К утру я знала одно: играть в наблюдателя и наблюдаемую мы больше не будем. Я слишком устала считать вслепую.

Я приехала в башню раньше Марка — впервые за эту неделю раньше него — и, когда он вошёл ровно в девять, не дала ему дойти до аквариума. Я положила на стеклянный стол в своём кабинете два предмета. Фотографию. И лампу, которую всю неделю таскала за собой в сумке, завёрнутую в бархат, не в силах оставить её в ящике, — тяжёлую, холодную, чужую и почему-то уже родную.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.